

1. АРМРЕСЛИНГ В ЧЕБАЧИНСКЕ

Дед был очень силён. Когда он, в своей выгоревшей, с высоко подвёрнутыми рукавами рубаше, работал на огороде или строгал черенок для лопаты (отдыхая, он всегда строгал черенки, в углу сарая был их запас на десятилетия), Антон говорил про себя что-нибудь вроде: «Шары мышц катались у него под кожей» (Антон любил выразиться книжно). Но и теперь, когда деду перевалило за девяносто, когда он с трудом потянулся с постели взять стакан с тумбочки, под закатанный рукав нижней рубашки знакомо покатился круглый шар, и Антон усмехнулся.

— Смеёшься? — сказал дед. — Слаб я стал? Стал стар, однако был он прежде млад. Почему ты не говоришь мне, как герой вашего босяцкого писателя: «Что, умираешь?» И я бы ответил: «Да, умираю!»

А перед глазами Антона всплывала та, из прошлого, дедова рука, когда он пальцами разгибал гвозди или кровельное железо. И ещё отчётливей — эта рука на краю праздничного стола со скатертью и сдвинутою посудой — неужели это было больше тридцати лет назад?

Да, это было на свадьбе сына Переплёткина, только что вернувшегося с войны. С одной стороны стола сидел сам кузнец Кузьма Переплёткин, и от него, улыбаясь смущённо, но не удивлённо, отходил боец скотобойни Бондаренко, руку которого только что

припечатал к скатерти кузнец в состязании, которое теперь именуют армреслинг, а тогда не называли никак. Удивляться не приходилось: в городке Чебачинске не было человека, чью руку не мог положить Переплёткин. Говорили, что раньше то же мог сделать ещё его погибший в лагерях младший брат, работавший у него в кузне молотобойцем.

Дед аккуратнo повесил на спинку стула чёрный пиджак английского бостона, оставшийся от тройки, сшитой ещё перед первой войной, дважды лицованный, но всё ещё смотревшийся (было непостижимо: ещё на свете не существовало даже мамы, а дед уже щеголял в этом пиджаке), и закатал рукав белой батистовой рубашки, последней из двух дюжин, вывезенных в пятнадцатом году из Вильны. Твёрдо поставил локоть на стол, сомкнул с ладонью соперника свою, и она сразу потонула в огромной разлапой кисти кузнеца.

Одна рука — чёрная, с вьёвшейся окалиной, вся переплетённая не человеческими, а какими-то воловьими жилами («Жилы канатами вздулись на его руках», — привычно подумал Антон). Другая — вдвое тоньше, белая, а что под кожей в глубине чуть просвечивали голубоватые вены, знал один Антон, помнивший эти руки лучше, чем материнские. И один Антон знал железную твёрдость этой руки, её пальцев, без ключа отворачивающих гайки с тележных колёс. Такие же сильные пальцы были ещё только у одного человека — второй дедовой дочери, тёти Тани. Оказавшись в войну в ссылке (как чесеирка — член семьи изменника родины) в глухой деревне с тремя малолетними детьми, она работала на ферме дояркой. Об электродойке тогда не слыхивали, и бывали месяцы, когда она выдаивала вручную двадцать коров в день — по два раза каждую. Московский приятель Антона, специалист по мясо-молоку, говорил, что это всё сказ-

ки, такое невозможно, но это было — правда. Пальцы у тётки Тани были все искривлены, но хватка у них осталась стальная; когда сосед, здороваясь, в шутку сжал ей сильно руку, она в ответ так сдавила ему кисть, что та вспухла и с неделю болела.

Гости выпили уже первые батареи бутылок самогона, стоял шум.

— А ну, пролетарий на интеллигенцию!

— Это Переплёткин-то пролетарий?

Переплёткин — это Антон знал — был из семьи высланных кулаков.

— Ну а Львович — тоже нашёл советскую интеллигенцию.

— Это бабка у них из дворян. А он — из попов.

Судья-доброволец проверил, на одной ли линии установлены локти. Начали.

Шар от дедова локтя откатился сначала куда-то вглубь засученного рукава, потом чуть прикатился обратно и остановился. Канаты кузнеца выступили из-под кожи. Шар деда чуть-чуть вытянулся и стал похож на огромное яйцо («страусиное», — подумал образованный мальчик Антон). Канаты кузнеца выступили сильнее, стало видно, что они узловаты. Рука деда стала медленно клониться к столу. Для тех, кто, как Антон, стоял справа от Переплёткина, его рука совсем закрыла дедову руку.

— Кузьма, Кузьма! — кричали оттуда.

— Восторги преждевременны. — Антон узнал скрипучий голос профессора Резенкампа.

Рука деда клониться перестала. Переплёткин посмотрел удивлённо. Видно, он надал, потому что вспух ещё один канат — на лбу.

Ладонь деда стала медленно подниматься — ещё, ещё, и вот обе руки опять стоят вертикально, как будто и не было этих минут, этой вздувшейся жилы на лбу кузнеца, этой испарины на лбу деда.

Руки чуть заметно вибрировали, как сдвоенный механический рычаг, подключённый к какому-то мощному мотору. Туда — сюда. Сюда — туда. Снова немного сюда. Чуть туда. И опять неподвижность, и только еле заметная вибрация.

Сдвоенный рычаг вдруг ожил. И опять стал клониться. Но рука деда теперь была сверху! Однако когда до столешницы оставался совсем пустяк, рычаг вдруг пошёл обратно. И замер надолго в вертикальном положении.

— Ничья, ничья! — закричали сначала с одной, а потом с другой стороны стола. — Ничья!

— Дед, — сказал Антон, подавая ему стакан с водой, — а тогда, на свадьбе, после войны, ты ведь мог бы положить Переплёткина?

— Пожалуй.

— Так что ж?..

— Зачем? Для него это профессиональная гордость. К чему ставить человека в неловкое положение.

На днях, когда дед лежал в больнице, перед обходом врача со свитой студентов он снял и спрятал в тумбочку нательный крест. Дважды перекрестился и, взглянув на Антона, слабо улыбнулся. Брат деда, о. Павел, рассказывал, что в молодости тот любил прихвастнуть силой. Разгружают рожь — отодвинет работника, подставит плечо под пятипудовый мешок, другое — под второй такой же, и пойдёт, не сгибаясь, к амбару. Нет, таким хвостой деда представить было нельзя никак.

Любую гимнастику дед презирал, не видя в ней проку ни для себя, ни для хозяйства; лучше расколоть утром три-четыре чурки, побросать навоз. Отец был с ним солидарен, но подводил научную базу: никакая гимнастика не даёт такой разносторонней нагрузки, как колка дров, — работают все группы мышц. Подначитавшись брошюр, Антон заявил: специалисты счи-

тают, что при физическом труде заняты как раз не все мышцы и после любой работы надо делать ещё гимнастику. Дед и отец дружно смеялись: «Поставить бы этих специалистов на дно траншеи или на верх стога на полдня! Спроси у Василия Илларионовича — он по рудникам двадцать лет жил рядом с рабочими бараками, там всё на людях, — видел он хоть одного шахтёра, делающего упражнения после смены?» Василий Илларионович такого шахтёра не видел.

— Дед, ну Переплёткин — кузнец. А в тебе откуда было столько силы?

— Видишь ли. Я — из семьи священников, потомственных, до Петра Первого, а то и дальше.

— Ну и что?

— А то, что — как сказал бы твой Дарвин — искусственный отбор.

При приёме в духовную семинарию существовало негласное правило: слабых, малорослых не принимать. Мальчиков привозили отцы — смотрели и на отцов. Те, кому предстояло нести людям слово Божие, должны быть красивые, высокие, сильные люди. К тому ж у них чаще бывает бас или баритон — тоже момент немаловажный. Отбирали таких. И — тысячу лет, со времён святого Владимира.

Да, и о. Павел, протоиерей Горьковского кафедрального собора, и другой брат деда, что священствовал в Вильнюсе, и ещё один брат, священник в Звенигороде, — все они были высокие, крепкие люди. О. Павел отсидел десятку в мордовских лагерях, работал там на лесоповале, а и сейчас, в девяносто лет, был здоров и бодр. «Поповская кость!» — говорил отец Антона, садясь покурить, когда дед продолжал не торопясь и как-то даже незвучно разваливать колуном берёзовые колоды. Да, дед был сильнее отца, а ведь и отец был не слаб — жилистый, выносливый, из мужиков-однодворцев (в которых, впрочем, ещё

бродил остаток дворянской крови и собачьей брови), выросший на тверском ржаном хлебе, — никому не уступал ни на покосе, ни на трелёвке леса. И годами — вдвое моложе, а деду тогда, после войны, перевалило за семьдесят, был он тёмный шатен, и седина лишь чуть пробивалась в густой шевелюре. А тётка Тамара и перед смертью, в свои девяносто, была как вороново крыло.

Дед не болел никогда. Но два года назад, когда младшая дочь, мать Антона, переехала в Москву, у него вдруг начали чернеть пальцы на правой ноге. Бабка и старшие дочери уговаривали сходить в поликлинику. Но в последнее время дед слушался только младшую, её не было, к врачу не пошёл — в девяносто три ходить по лекарям глупо, а ногу показывать перестал, говоря, что всё прошло.

Но ничего не прошло, и когда дед всё же показал ногу, все ахнули: чернота дошла до середины голени. Если б захватили вовремя, можно было бы ограничиться ампутацией пальцев. Теперь пришлось отрезать ногу по колену.

Ходить на костылях дед не выучился, оказался лежачим; выбитый из полувекового ритма целодневной работы на огороде, во дворе, загрустил и ослаб, стал нервным. Сердился, когда бабка приносила завтрак в постель, перебирался, хватаясь за стулья, к столу. Бабка по забывчивости подавала два валенка. Дед на неё кричал — так Антон узнал, что дед умеет кричать. Бабка пугливо запикивала второй валенок под кровать, но и в обед, и в ужин всё начиналось снова. Убрать второй валенок совсем почему-то догадались не сразу.

В последний месяц дед совсем ослабел и велел написать всем детям и внукам, чтобы приехали проститься и «заодно решить кое-какие наследственные вопросы» — эта формулировка, говорила внучка Ира,

писавшая письма под его диктовку, повторялась во всех посланьях.

— Прямо как в повести известного сибирского писателя «Последний срок», — говорила она. Библиотекарша районной библиотеки, Ира следила за современной литературой, но плохо запоминала фамилии авторов, жалуясь: «Их так много».

Антон подивился, прочитав в письме деда о наследственных вопросах. Какое наследство?

Шкаф с сотней книг? Столетний, ещё виленский, диванчик, который бабка называла козеткой? Правда, имелся дом. Но он был старый и ветхий. Кому он нужен?

Но Антон ошибался. Из тех, кто жил в Чебачинске, на наследство претендовали трое.

2. ПРЕТЕНДЕНТЫ НА НАСЛЕДСТВО

В старухе, встречавшей его на перроне, свою тётку Татьяну Леонидовну он не узнал. «Годы наложили неизгладимый отпечаток на её лицо», — подумал Антон.

Среди пяти дедовых дочерей Татьяна считалась самой красивой. Она раньше всех вышла замуж — за инженера-путейца Татаева, человека честного и горячего. В середине войны он дал по морде начальнику движения. Тётя Таня никогда не уточняла за что, говоря только: «Ну, это был мерзавец».

Татаева разбронировали и отправили на фронт. Он попал в прожекторную команду и как-то ночью по ошибке осветил не вражеский, а свой самолёт. Смершевцы не дремали — его арестовали тут же, ночь он провёл в ихней арестной землянке, а утром его расстреляли, обвинив в преднамеренных подрывных действиях против Красной Армии. Впервые услышав эту

историю в пятом классе, Антон никак не мог понять, как можно было сочинить подобную чушь, что человек, находясь в расположении наших войск, среди своих, которые тут же его схватят, сделал бы такую глупость. Но слушатели — два солдата Великой Отечественной — нисколько не удивились. Правда, реплики их — «разнарядка?», «не добирали до цифры?» — были ещё непонятней, но Антон вопросов никогда не задавал и, хоть его никто не предупреждал, нигде домашних разговоров не пересказывал, — может, поэтому при нём говорили не стесняясь. Или думали, что он ещё мало что понимает. Да и комната одна.

Вскоре после расстрела Татаева его жену с детьми: Вовкой шести лет, Колькой — четырёх и Катькой — двух с половиной отправили в пересыльную тюрьму в казахстанский город Акмолинск; четыре месяца она ждала приговора и была выслана в совхоз Смородиновка Акмолинской области, куда они добирались на попутных машинах, подводах, быках, пешком, шлёпая в валенках по апрельским лужам, другой обуви не было — арестовали зимой.

В посёлке Смородиновка тётя Таня устроилась дояркой, и это была удача, потому что каждый день она в грелке, спрятанной на животе, приносила детям молоко. Никаких карточек ей как ЧСИР не полагалось. Поселили их в телятнике, но обещали землянку — вот-вот должна была умереть её обитательница, такая же ссыльнопоселенка; каждый день посылали Вовку, дверь не запиралась, он входил и спрашивал: «Тётенька, вы ещё не померли?» — «Нет ещё, — отвечала тётенька, — приходи завтра». Когда она наконец умерла, их вселили на условия, что тётя Таня покойницу похоронит; с помощью двух соседок она повезла на ручной тележке тело на кладбище. Новая насельница впряглась в ручки-оглобли, одна соседка подталкивала тележку, то и дело застревавшую в жирном степном

чернозёме, другая придерживала завёрнутое в мешковину тело, но тележка была маленькая, и оно всё время скатывалось в грязь, мешок скоро стал чёрный и липкий. За катафалком, растянувшись, двигалась похоронная процессия: Вовка, Колька, отставшая Катька. Однако счастье было недолгим: тётя Таня не ответила на притязания заведующего фермой, и её из землянки снова выселили в телятник — правда, другой, лучший: туда поступали новорождённые телки. Жить было можно: помещение оказалось большое и тёплое, коровы телились не каждый день, случались перерывы и по два, и даже по три дня, а на седьмое ноября вышел праздничный подарок — ни одного отёла целых пять дней, всё это время в помещении не было чужих. В телятнике они прожили два года, пока любвеобильного заведующего не пырнула вилами-трёхрожками возле навозной кучи новенькая доярка — чеченка. Пострадавший, дабы не подымать шуму, в больницу не обратился, а вилы были в навозе, через неделю он умер от общего сепсиса — пенициллин в этих местах появился только в середине пятидесятых.

Всю войну и десять лет после тётя Таня проработала на ферме, без выходных и отпусков, на руки её страшно было смотреть, и сама она стала худа до прозрачности — пройди-свет.

В голодном сорок шестом бабка выписала старшего — Вовку — в Чебачинск, и он стал жить с нами. Был он молчалив, никогда ни на что не жаловался. Сильно порезав однажды палец, залез под стол и сидел, собирая капавшую кровь в горсть; когда наполнилась, осторожно выливал кровь в щель. Он много болел, ему давали красный стрептоцид, отчего его струйка на снегу была алой, чему я очень завидовал. Был он старше меня на два года, но пошёл только в первый класс, я же, поступив сразу во второй, был уже в третьем, чем перед Вовкой страшно задавался.

Наученный дедом читать так рано, что не помнил себя неграмотным, высмеивал читавшего по складам братца. Но недолго: читать он научился быстро, а складывал и умножал в уме к концу года уже лучше меня. «В отца, — вздыхала бабка. — Тот все расчёты делал без логарифмической линейки».

Тетрадей не было; учительница сказала, чтобы Вовке купили какую-нибудь книгу, где бумага побелее. Бабка купила «Краткий курс истории ВКП(б)» — в магазине, где продавался керосин, графины и стаканы производства местного стеклозавода, деревянные грабли и табуретки местного же промкомбината, стояла ещё и эта книга — целая полка. Бумага в ней была наилучшая; Вовка выводил свои крючки и «элементы букв» прямо поверх печатного текста. Перед тем как текст навсегда пропадал за ядовитыми фиолетовыми элементами, мы его внимательно прочитывали, а потом экзаменовали друг друга: «У кого был мундир английский?» — «У Колчака». — «А табак какой?» — «Японский». — «А кто ушёл в кусты?» — «Плеханов». Вторую часть этой тетрадки Вовка озаглавил «Рыхметика» и решал там примеры. Начиналась она на знаменитой четвёртой — философской — главе «Краткого курса». Но учительница сказала, что под арифметику надо завести особую тетрадь — для этого отец дал Вовке брошюру «Критика Готской программы», но она оказалась неинтересной, только предисловие — какого-то академика — начиналось хорошо, со стихов, правда записанных не в столбик: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма».

Вовка проучился в нашей школе только год. Я писал ему письма в Смородиновку. Видимо, в них было что-то обидное и хвастливое, потому что Вовка вскоре прислал мне в ответ письмо-акrostих, который расшифровывался так: «Антоша англичанин хвастунок». Центральное слово составилось из стихов: «А ты всё же задаёшься, Надо меньше вображать, Говоришь, хо-

тя смеёшься, Лишь не надо обзывать. И хотя английский учишь, Часто это не пиши, А как это ты получишь, Напиши мне от души» и т. д.

Я был потрясён. Вовка, который всего год назад на моих глазах читал по слогам, теперь писал стихи — да ещё акrostихи, о существовании которых в природе я и не подозревал! Много позже Вовкина учительница говорила, что другого такого способного ученика не помнит за тридцать лет. В своей Смородиновке Вовка окончил семь классов и школу трактористов и комбайнеров. Когда я приехал по письму деда, он жил всё там же, с женой-дояркой и четырьмя дочками.

Тётя Таня перебралась с остальными детьми в Чебачинск; отец вывез их из Смородиновки на грузовике вместе с коровой, настоящей симменталкой, которую не бросать же было; всю дорогу она мычала и стучала рогами о борт. Потом он устроил среднего, Кольку, в школу киномехаников, что было не так просто — после плохо залеченного в детстве отита он оказался глуховат, но в комиссии сидел бывший ученик отца. Начав работать киномехаником, Колька проявил необычайную разворотливость: продавал какие-то поддельные билеты, которые подпольно ему печатали в местной типографии, на сеансах в туберкулёзных санаториях с больных брал плату. Жулик из него вышел первостатейный. Интересовали его только деньги. Нашёл богатую невесту — дочь известной местной спекулянтки Мани Делец. «Ляжет под одеяло, — жаловалась свекрови молодая в медовый месяц, — и отвернётся к стенке. Я и грудью, и всем прижимаюсь, и ногу на него кладу, а потом тоже отвернусь. Так и лежим, задница к заднице». После женитьбы купил себе мотоцикл — на машину тёща денег не дала.

Катька в первый год жила у нас, но потом ей пришлось отказать — с первых дней она подворовывала. Очень ловко крада деньги, спрятать которые от

неё не было никакой возможности — она находила их в швейной шкатулке, в книгах, под радиоприёмником; брала только часть, но ощутимую. Мама обе зарплаты, свою и отцовскую, стала носить в портфеле в школу, где он в безопасности валялся в учительской. Лишившись этого дохода, Катька стала таскать чайные серебряные ложки, чулки, однажды украла трёхлитровую банку подсолнечного масла, за которым Тамара, другая дочь деда, стояла в очереди полдня. Мама определила её в медучилище, что тоже было непросто (училась она скверно) — опять же через бывшую ученицу. Став медсестрой, жулила не хуже братца. Делала какие-то левые уколы, таскала из больницы лекарства, устраивала липовые справки. Оба были жадны, постоянно врали, всегда и везде, в крупном и в мелочах. Дед говорил: «Они виноваты только вполтину. Честная бедность — всегда бедность до определённых пределов. Здесь же была нищета. Страшная — с младенчества. Нищие не бывают нравственными». Антон деду верил, но Катьку и Кольку не любил. Когда дед умер, его младший брат, священник в Литве, в Шауляе, где когда-то было имение их отца, прислал на погребение крупную сумму. Почтальонку встретил Колька и никому ничего не сказал. Когда от о. Владимира пришло письмо, всё вскрылось, но Колька заявил, что деньги положил на окошко. Сейчас тётя Таня жила у него, в казённой квартире при кинотеатре. На дом зарился, видимо, Колька.

Старшая дочь Тамара, всю жизнь прожившая со стариками, так и не вышедшая замуж, доброе, безответное существо, и не догадывалась, что может на что-то претендовать. Она топила печь, варила, стирала, мыла полы, гоняла корову в стадо. Стадо пастух пригонял вечером только до околицы, где коров разбирали хозяйки, а коровы, которые умные, шли дальше сами. Наша Зорька была умная, но иногда что-то

на неё находило и она убегала за речку к Каменухе или ещё дальше — в излоги. Корову надо было найти до темноты. Бывало, что её искали дядя Лёня, дед, даже мама, я пробовал трижды. Никто не нашёл ни разу. Тамара находила всегда. Мне эта её способность казалась сверхъестественной. Отец объяснял: Тамара знает, что корову *надо* найти. И находит. Это было не очень понятно. В работе она была целыми днями, только по воскресеньям бабка отпускала её в церковь, да иногда поздно вечером она доставала тетрадку, куда коряво переписывала детские рассказы Толстого, тексты из любого оказавшегося на столе учебника, что-нибудь из молитвенника, чаще всего одну вечернюю молитву: «И даждь ми, Господи, в нощи сей сон прейти в мире». Дети её дразнили «Шоша», — не знаю, откуда это взялось, — она обижалась. Я не дразнил, давал ей тетрадки, потом привозил из Москвы кофточки. Но позже, когда Колька отгяпал у неё квартиру и запихнул её в дом престарелых в далёкий Павлодар, я только посылал туда изредка посылки и всё собирался навестить — всего три часа лёту от Москвы, — не навестил. От неё не осталось ничего: ни её тетрадок, ни её икон. Только одна фотография: обернувшись к камере, она выжимает бельё. Пятнадцать лет она не видела ни одного родного лица, никого из нас, кого так любила и к кому обращалась в письмах: «Самые дорогие все».

Третьим претендентом был дядя Лёня, младший из дедовых детей. Антон узнал его позже других своих дядек и тёток — в тридцать восьмом году его призвали в армию, потом началась финская война (туда он попал как хороший лыжник — признался в этом единственный из всего батальона сибиряков), потом — отечественная, затем — японская, потом с Дальнего Востока его перебросили на крайний запад бороться с бендеровцами; из последней военной экспедиции

он вынес два лозунга: «Хай живе пан Бендера та его жинка Параска» и «Хай живе двадцать восьма роковина жовтневой революции». Вернулся он только в сорок седьмом. Говорили: Лёня — везунчик, он был связистом, но его даже не ранили; правда, дважды контузило. Тётя Лариса считала, что это отразилось на его умственных способностях. Она имела в виду то, что он с увлечением играл со своими малолетними племянниками и племянницами в морской бой и в карты, очень расстраивался, когда проигрывал, и поэтому часто жулил, пряча карты за голенища кирзовых сапог.

В конце войны дядя Лёня под Белой Церковью познакомился с полячкой Зосей, которой слал из Германии посылки. Тётя Лариса спрашивала, почему он ничего ни разу не прислал старикам, а если уж всё отсылал Зосичке, то чего ж к ней не едет. Он отмалчивался, но когда особенно приставала, говорил отрывисто: «Написала. Не приезжай». — «И ничего не объяснила?» — «Объяснила. Пишет: зачем приезжать».

С войны он пришёл членом партии, но об этом дома узнали только тогда, когда кто-то из его теперешних сослуживцев-железнодорожников сказал бабке, что Леонида Леонидовича недавно исключили, так как он ни разу не заплатил членские взносы. Вернулся он в медалях, только «За отвагу» было целых три. Антону больше всего нравилась медаль «За взятие Кёнигсберга». Рассказывал он кое-что почему-то только про финскую войну. Как какие-то части прибыли укомплектованные резиновыми сапогами — а морозы стояли под сорок. Антон читал в «Пионере» рассказы, что опаснее всего были финские снайперы — «кукушки».

— Какие кукушки. Чушь. Какой дурак на дерево. Полезет. В такой мороз. Зачем.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Армреслинг в Чебачинске	5
2. Претенденты на наследство	11
3. Воспитанница института благородных девиц	21
4. Четвёртая сибирская волна	35
5. Клава и Валя	49
6. Ты можешь ли Левиафана удоем вытащить на брег?	53
7. Кавалер Большой золотой медали Великого Князя	72
8. Гений орфографии Васька Восемьдесят Пять	86
9. В бане и около	92
10. Кооперативный конь Мальчик, или Черепаха Наполеона	103
11. Бычаги	117
12. Натуральное хозяйство XX века	128
13. Человек, Которыйнеест	150
14. Землекопы и матросы	156
15. Вдовий угол	166
16. ООН	190
17. Гимн Советского Союза	195
18. Невеста графа Строганова	200
19. Два горных инженера	205
20. Отважный пилот Гастелло	229
21. Вечерний звон	247
22. Озеро	263

23. Другие песни	280
24. Гибель «Титаника»	288
25. Пельмени Ильича	305
26. Приобретённые признаки наследуются	333
27. Вольф Мессинг, гр. Шереметьев, барон Унгерн и прочие	350
28. Прекрасное есть революция	380
29. Псы	393
30. В Москве	412
31. Встреча друзей	424
32. Кондитер Федерату и профессор Резенкамф, печник	462
33. Носить не сносить	469
34. Стекольщик Кажека	486
35. Караси из архиерейского пруда	496
36. Мама	503
37. Отец	526
38. И все они умерли	543

Приложение

А. П. Чудаков

Из дневников, записных книжек, писем	561
--	-----